
Малое
собрание
сочинений

Оноре де
БАЛЬЗАК

Малое
собрание
сочинений



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
Б 21

Перевод с французского
Б. Грифцова, И. Брюсовой, Н. Жарковой, Е. Корша,
Н. Немчиновой, А. Худадовой

Оформление обложки В. Манацковой

- © Н. Жаркова (наследник), перевод, 2016
- © Н. Немчинова (наследник), перевод, 2016
- © А. Худадова (наследник), перевод, 2016
- © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-07578-8



Отец Горио



*Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-Илеру
в знак восхищения его работами и гением.*

Де Бальзак

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет сорок держит семейный пансион в Париже на улице Нев-Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. Пансион под названием «Дом Воке» открыт для всех — для юношей и стариков, для женщин и мужчин, и все же нравы в этом почтенном заведении никогда не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень мало. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная молоденькая девушка. Как ни подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно: пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу *intra* и *extra muros*¹. А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всех этих сцен, где столько разных наблюдений и местного колорита, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа, только в знаменитой долине с дрянными постройками, которые того и гляди рухнут, и водосточными канавами, черными от грязи; в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так ужасно, что лишь необычайное событие может здесь оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление. А все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и добродетелей придает величие и торжественность: перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости; но это чувство проходит

¹ В стенах города и за его стенами (*лат.*).

так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице с идолом Джагернаутом: наехав на человеческое сердце, не столь податливое, как у других людей, она слегка запнется, но в тот же миг уже крушит его и гордо продолжает путь. Вроде этого поступите и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «Быть может, это развлечет меня?» — а после, прочтя про тайные отцовские невзгоды Горрио, покушаете с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте же: эта драма не выдумка и не роман. All is true¹, — она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в своей жизни, а возможно, и в своем сердце.

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же Воке. Стоит он в нижней части улицы Нёв-Сент-Женевьев, где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой крутой и неудобный спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует тишине на улицах, запряганных в пространстве между Валь-де-Грас и Пантеоном, где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и все вокруг омрачая суровым колоритом огромных куполов. Тут мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие; грохот экипажа тут целое событие, дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно зашедший парижанин тут не увидит ничего, кроме семейных пансионов или учебных заведений, нищеты и скуки, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного.

Улица Нёв-Сент-Женевьев, как бронзовая рама для картины, достойна больше всех служить оправой для этого повествования, которое требует как можно больше темных красок и серьезных мыслей, чтобы читатель заранее проникся должным настроением, — подобно путешественнику при спуске в катакомбы, где

¹ Все это правда (*англ.*).

с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздаётся певучий голос провожатого. Верное сравнение! Кто решит, что более ужасно: взирать на черствые сердца или на пустые черепа?

Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нёв-Сент-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенная щебнем неглубокая канава шириной в туаз, а вдоль нее — песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого с синим фаянса. На дорожку с улицы ведет калитка; над ней прибита вывеска, на которой значится: «ДОМ ВОКЕ», а ниже: *Семейный пансион для лиц обоего пола и прочая*. Днем сквозь решетчатую калитку со звонким колокольчиком видна против улицы, в конце канавы, стена, где местный живописец нарисовал арку из зеленого мрамора, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе символ той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, которая свидетельствует о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1778 году:

Кто б ни был ты, о человек,
Он твой наставник, и навек.

К ночи вход закрывают не решетчатой дверцей, а глухой.

Садик, шириной во весь фасад, втиснут между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, который, однако, скрыт сплошной завесой из плюща, настолько живописной для Парижа, что она привлекает взоры прохожих. Все стены, окружающие сад, затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, и каждый год их пыльные и чахлые плоды становятся для г-жи Воке предметом опасений и бесед с жильцами. Вдоль стен проложены узкие дорожки, ведущие под кущу лип, или *липп*, как г-жа Воке, хотя и родом де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с артишоками, обсажен-

ная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально подстриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, выкрашенный в зеленый цвет, и вокруг него поставлены скамейки. В самый разгар лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе эту роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже пять окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь и вкось. С бокового фасада лишь по два окна на этаж, при этом на нижних окнах красуются решетки из железных прутьев. Позади дома двор, шириною футов в двадцать, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры; в глубине двора стоит сарай для дров. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет все домашние отбросы, не жалея воды, чтобы очистить эту свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж сам собою как бы предназначен под семейный пансион. Первая комната, с окнами на улицу и стеклянной входной дверью, представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, а та отделена от кухни лестницей, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной, где стоят стулья и кресла, обитые волосяной материей в блестящую и матовую полоску. Середину гостиной занимает круглый стол с доской из чернокрапчатого мрамора, украшенный кофейным сервизом белого фарфора с потертой золотой каемкой, какой найдешь теперь везде. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевитыми обоями с изображением главнейших сцен из «Телемака», где действующие лица античной древности представлены в красках. В простенке между решетчатыми окнами глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет сорок служит

мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они становятся выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пода, топится лишь в самые торжественные дни, а для красоты на нем водружены замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора и по бокам их, под стеклянными колпаками, — две вазы с ветхими букетами искусственных цветов.

В этой первой комнате стоит особый запах; он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать *запахом пансиона*. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столовой, где кончили обедать, зловонной кухмистерской, лакейской, кучерской. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части — особые, болезненные запахи, исходящие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на весь этот пошлый ужас, если сравнить гостиную со смежной столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар.

Столовая, доверху обшита деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который нахлопалась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам — липкие буфеты, где пребывают щербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой — изделие мануфактуры Турнэ. В одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить, для каждого нахлебника особо, залитые вином или просто грязные салфетки. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отходы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр с капучином, вылезавшим, когда дождь уже пошел; мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит, — все в лакированных деревянных рамках, черных с золочеными ложками; стенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравленую печь; кенкеты Аргана, где пыль смешалась с маслом; длинный стол, покрытый клеенкой настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем, за неимением стилоса;

искалеченные стулья, соломенные жалкие циновки — в вечном употреблении и без износа; затем дрянные грелки с развороченными продушинами, с обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива, — понадобилось бы пространное описание, но это затянуло бы развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол — в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию, нищеты потертой, скаредной, сгущенной. Хотя она еще не вся в грязи, но покрыта пятнами, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот г-жи Воке, вспрыгивает на буфет и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном потрепанном ее лице нос торчит, как клюв у попугая; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь — все гармонирует с залой, где отовсюду сочится горе, где притаилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теплый смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками глаза выражают все переходы от деланой улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика, — словом, ее личность предопределяет характер пансиона, как пансион определяет ее личность. Каторга не бывает без надсмотрщика, — одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки — такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть последствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около пятидесяти лет вдова Воке похожа на всех женщин, *выдавших виды*. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг

раскипятиться, чтобы взять дорожке, да и вообще для облегчения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю и Жоржа, если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы еще раз. Нахлебники же говорят, что она в сущности баба неплохая, и, слыша, как она кричит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? Ему не повезло, — гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, толстуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший тридцать франков в месяц. Ко времени начала этой повести пансионеров было семь. Второй этаж состоял из двух помещений, лучших во всем доме. В одном, поменьше, жила сама Воке, в другом — г-жа Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республики. С ней проживала совсем юная девица Викторина Тайфер, которой г-жа Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до тысячи восьмисот франков в год. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую — человек лет сорока, в черном парике и с крашеными баками, который называл себя бывшим купцом и именовался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну — старая дева мадемуазель Мишоно, другую — бывший фабрикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папаша Горио. Остальные две комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадемуазель Мишоно и папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти франков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неимением лучшего: уж очень много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтоб высылать ему на жизнь тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк,

так его звали, принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и готовят себе блестящую карьеру, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособляя свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его способности проникать в парижские салоны повесть утратила бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку, — его прозорливому уму и его стремлению разгадать тайны одной ужасающей судьбы, как ни старались их скрыть и сами виновники ее и ее жертва.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка.

Помимо семерых жильцов, у г-жи Воке столовались — глядя по году, однако же не меньше восьми — студенты, юристы или медики да два-три завсегдатая из того же квартала; они все абонировались только на обед. К обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно было посадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь семеро жильцов, причем завтрак носил характер семейной трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу одежды или облика нахлебников со стороны, по поводу событий вчерашнего вечера, беседуя запросто, по-дружески. Все эти семеро пансионеров были баловнями г-жи Воке, с точностью астронома отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от платы за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа платили всего лишь семьдесят два франка в месяц. Такая дешевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо, между Сальпетриер и Бурб, где плата за содержание г-жи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему виду всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегдатаев его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах — сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье, — словом, одна *види-*

мость одежды. На женщинах — вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые, штопанные кружева, залоснившиеся перчатки, пожелтевшие воротнички и на плечах — дырявые косынки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым, здоровье выдерживало натиск житейских бурь, а лицо было холодное, жесткое, полустертое, как изъятая из обращения монета. Увядшие рты были вооружены хищными зубами. В судьбе этих людей чувствовались драмы, уже законченные или в действии: не те, что разыгрываются при свете рампы, в расписных холстах, а драмы, полные жизни и безмолвные, застывшие и горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишноно носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей, плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет — так угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслажденья, старостью, пугавшей всех прохожих? Теперь ее пустой взгляд нагонял холод, неприятное лицо было зловеще. Тонкий голосок звучал как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, который страдал катаром мочевого пузыря и брошен был своими детьми, решившими, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишноно всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще не окончательно утратило свою былую белизну и тонкость кожи, наводившие на мысль, что тело сохранило кое-какие остатки красоты.

Господин Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на голове старая помятая фуражка, рука едва удерживает трость с пожелтелым набалдашником слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов, надетых

будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких, трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху вылезает грязная белая жилетка и топорщится заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой породе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело его шишковатое лицо, которое и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по министерству юстиции, в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником санитарного смотрителя. Словом, этот человек, как видно, принадлежал к вьючным ослам на нашей великой социальной мельнице, к парижским Ратонам, даже не знающим своих Бертранов, был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несчастья и людская скверна, — короче, одним из тех, о ком мы говорим: «Что делать, нужны и такие!» Эти бледные от нравственных или физических страданий лица неведомы нарядному Парижу. Но Париж — это настоящий океан. Бросайте в него лот, и все же глубины его вам не измерить. Не собираетесь ли обозреть и описать его? Обозревайте и описывайте — старайтесь сколько угодно: как бы ни были многочисленны и пытливы его исследователи, но в этом океане всегда найдется область, куда еще никто не проникал, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, упущенное водолазами литературы. К такого рода чудищам относится и «Дом Воке».

Здесь две фигуры представляли разительный контраст со всей группой остальных пансионеров и нахлебников со стороны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой белизной, похожей на бледность малокровных девушек; правда, присущая ей грусть и застенчивость, жалкий, хилый вид подходили к общему страдальческому настроению — основному тону всей картины, но лицо ее не было старообразным, в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горемыка напоминала пожелтлый кустик, недавно пересаженный в неподходящую почву. В желтоватости ее лица, в рыжевато-белокурых волосах, в чересчур

тонкой галии проявлялась та прелесть, какую современные поэты видят в средневековых статуэтках. Исчерна-серые глаза выражали кротость и христианское смирение. Под простым, дешевым платьем обозначались девические формы. В сравнении с другими можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой доле она бы стала восхитительной: поэзия женщины — в ее благополучии, как в туалете — ее краса. Когда б веселье бала розоватым отблеском легло на это бледное лицо; когда б отрада изящной жизни округлила и подрумянила слегка впалые щеки; когда б любовь одушевила эти грустные глаза, — Викторина смело могла бы поспорить красотой с любой самой красивой девушкой. Ей не хватало того, что женщину перерождает, — тряпок и любовных писем. Ее история могла бы стать сюжетом целой книги.

Отец Викторины находил какой-то повод не признавать ее своею дочерью, отказывался взять ее к себе и не давал ей больше шестисот франков в год, а все свое имущество он обратил в такие ценности, какие мог бы передать целиком сыну. Когда мать Викторины, приехав перед смертью к дальней своей родственнице вдове Кутюр, умерла от горя, г-жа Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К сожалению, у вдовы интендантского комиссара времен Республики не было ровно ничего, кроме пенсии да вдовьего пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная девушка могла когда-нибудь остаться без нее на произвол судьбы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Викторину к обедне, каждые две недели — к исповеди, чтобы на случай жизненных невзгод воспитать ее в благочестии. И г-жа Кутюр была вполне права. Религиозные чувства открывали какое-то будущее перед этой отвергнутой дочерью, которая любила отца и каждый год ходила к нему, пытаясь передать прошение от своей матери, но ежегодно натькалась в отцовском доме на немумолимо замкнутую дверь. Брат ее, единственный возможный посредник между нею и отцом, за все четыре года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал ей помощи ни в чем. Она молила Бога раскрыть глаза отцу, смягчить сердце брата и, не осуждая их, молилась за обоих. Для характеристики их варварского поведения г-жа Кутюр и г-жа Воке не находили слов в бранном лексиконе. В то время как они кляли бесчестного миллионера, Викторина произносила кроткие слова, похожие на воркованье раненого голубя, где и самый стон звучит любовью.

Эжен де Растиньяк лицом был типичный южанин: кожа белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах, обращении, привычной выправке сказывался отпрыск аристократической семьи, в которой воспитание ребенка сводилось к внушению с малых лет старинных правил хорошего тона. Хотя Эжену и приходилось беречь платье, донашивать в обычные дни прошлогоднюю одежду, он все же иногда мог выйти из дому, одевшись, как подобало молодому франту. А повседневно на нем был старенький сюртук, плохой жилет, дешевый черный галстук, кое-как повязанный и мятый, панталоны в том же духе и ботинки, которые служили уже свой второй век, потребовав лишь расхода на подметки.

Посредствующим звеном между двумя описанными личностями и прочими жильцами являлся человек сорока лет с крашеными бакенбардами — г-н Вотрен. Он принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят: «Вот молодчина!» У него были широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое и обходительное обращение. Не лишенный приятности высокий бас вполне соответствовал грубоватой его веселости. Вотрен был услужлив и любил посмеяться. Если какой-нибудь замок оказывался не в порядке, он тотчас же разбирает его, чинил, подтачивал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Дело знакомое». Впрочем, ему знакомо было все: Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предлагал свои услуги; не раз ссужал он деньгами и саму Воке, и некоторых пансионеров; но должники его скорей бы умерли, чем не вернули ему долг, — столько страха вселял он, несмотря на добродушный вид, полным решимости, каким-то особенным, глубоким взглядом. Одна уж его манера сплевывать слюну говорила о таком невозмутимом хладнокровии, что, вероятно, он в критическом случае не остановился бы и перед преступлением. Взор его, как строгий судья, казалось, проникал в самую глубь всякого вопроса, всякого чувства, всякой совести. Образ его жизни был таков: после завтрака он уходил, к обеду возвращался, исчезал затем на целый

вечер и приходил домой около полуночи, пользуясь благодаря доверию г-жи Воке запасным ключом. Один Вотрен добился такой милости. Он, правда, находился в самых лучших отношениях с вдовой, звал ее мамашей и обнимал за талию — не понимая ею лесть! Вдова совершенно искренне воображала, что обнять ее — простое дело, а между тем лишь у Вотрена были руки достаточной длины, чтобы обхватить такую грузную колоду. Характерная черта: он, не скупясь, тратил пятнадцать франков в месяц на «глорию» и пил ее за сладким. Людей не столь поверхностных, как эта молодежь, захваченная вихрем парижской жизни, или эти старики, равнодушные ко всему, что непосредственно их не касалось, вероятно, заставило бы призадуматься то двойственное впечатление, какое производил Вотрен. Он знал или догадывался о делах всех окружающих, а между тем никто не мог постигнуть ни род его занятий, ни образ мыслей. Поставив, как преграду, между другими и собой показное добродушие, всегдашнюю любезность и веселый нрав, он временами давал почувствовать страшную силу своего характера. Нередко раздражался он сатирой, достойной Ювенала, где, казалось, с удовольствием осмеивал законы, бичевал высшее общество, уличал во внутренней непоследовательности, а это позволяло думать, что в собственной его душе живет злая обида на общественный порядок и в недрах его жизни старательно запрятана большая тайна.

Мадемуазель Тайфер делила свои украдчивые взгляды и потаенные думы между этим сорокалетним мужчиной и молодым студентом, по влечению, быть может безотчетному, к силе одного и красоте другого, но, видимо, ни тот ни другой не думали о ней, хотя простая игра случая могла бы не сегодня завтра изменить положение Викторины и превратить ее в богатую невесту. Впрочем, среди всех этих личностей никто и не давал себе труда проверить, сколько правды и сколько вымысла заключалось в тех несчастях, на которые ссылался кто-либо из них. Все питали друг к другу равнодушие с примесью недоверия, вызванного собственным положением каждого в отдельности. Все сознавали свое бессилие облегчить удручавшие их горести и, обменявшись рассказами о них, исчерпали чашу сострадания. Как застарелым супругам, им уже не о чем было говорить. Таким образом, их отношения сводились только к внешней связи, к движению ничем

не смазанных колес. Любой из них пройдет на улице мимо слепого нищего не обернувшись, без волнения прослушает рассказ о чьем-нибудь несчастье, а в смерти ближнего увидит лишь разрешение проблемы нищеты, которая и породила их равнодушие к самой ужасной агонии. Среди таких опустошенных душ счастливее всех была вдова Воке, царившая в этом частном странно-приимном доме. Маленький садик, безлюдный в мороз, в зной и в слякоть, становившийся тогда пустынным, словно степь, ей одной казался веселой рощицей. Для нее одной имел прелесть этот желтый мрачный дом, пропахший, как прилавок, дешевой краской. Эти камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников, присужденных к вечной каторге, и держала их в почтительном повиновении. Где еще в Париже нашли бы эти горемыки за такую цену сытную пищу и пристанище, которое в их воле было сделать если не изящным или удобным, то по крайней мере чистым и не вредным для здоровья? Позволь себе г-жа Воке вопиющую несправедливость — жертва снесет ее без ропота.

В подобном соединении людей должны проявляться все составные части человеческого общества, — они и проявлялись в малом виде. Как в школах, как в разных кружках, и здесь, меж восемнадцати нахлебников, оказалось убогое, отверженное существо, козел отпущения, на которого градом сыпались насмешки. В начале второго года как раз эта фигура выступила перед Эженом Растиньяком на самый первый план изо всех, с кем ему было суждено прожить не менее двух лет. Таким посмешищем стал бывший вермишельщик папаша Горио, а между тем и живописец, и повествователь сосредоточили бы на его лице все освещение в своей картине. Откуда же взялось это чуть ли не злобное пренебрежение, это презрительное гонение, постигшее старейшего жильца, это неуважение к чужой беде? Не сам ли он дал повод, не было ли в нем странностей или смешных привычек, которые прощаются людьми труднее, чем пороки? Все эти вопросы тесно связаны со множеством общественных несправедливостей. Быть может, человеку по природе свойственно испытывать терпение тех, кто сносит все из простой покорности, или по безразличию, или по слабости. Разве мы не любим показывать свою силу на ком угодно и на чем угодно? Даже такое тщедушное создание, как уличный мальчишка, и тот звонит, когда стоят

морозы, во все звонки входных дверей или взбирается на еще не испачканный памятник и пишет на нем свое имя.

Папаша Горио, старик лет шестидесяти девяти, поселился у г-жи Воке в 1813 году, когда отошел от дел. Первоначально он снял квартиру, позднее занятую г-жой Кутюр, и вносил тысячу двести франков за полный пансион, словно платить на сто франков больше или меньше было для него безделицей. Г-жа Воке подновила три комнаты этой квартиры, получив от Горио вперед некоторую сумму для покрытия расходов, будто бы произведенных на дрянную обстановку и отделку: на желтые коленкоровые занавески, лакированные, обитые трипом кресла, на кое-какую подмазку клеевой краской и обои, отвергнутые даже кабаками городских предместий. Быть может, именно потому, что папаша Горио, в ту пору именуемый почтительно господин Горио, поймался на эту удочку, проявив такую легкомысленную щедрость, на него стали смотреть как на дурака, ничего не смыслящего в практических делах. Горио привез с собой хороший запас платья, великолепный подбор вещей, входящих в обиход богатого купца, который бросил торговать, но не отказывает себе ни в чем. Вдова Воке залюбовалась на полторы дюжины рубашек из *полуголландского* полотна, особенно приметных своей добротностью благодаря тому, что вермишельщик закалывал их мягкое жабо двумя булавками, соединенными цепочкой, а в каждую булавку был вправлен крупный бриллиант. Обычно он одевался в василькового цвета фрак, ежедневно менял пикейный белый жилет, под которым колыхалось выпуклое грушевидное брюшко, шевеля золотую массивную цепочку с брелоками. В табакерку, тоже золотую, был вделан медальон, где хранились чьи-то волосы, и это придавало Горио вид человека, повинного в любовных похождениях. Когда хозяйка обозвала его «старым волокитой», на его губах мелькнула веселая улыбка мещанина, польщенного в своей страстишке. Его «шкапики» (так выражался он по-простецки) были полны столовым серебром. У вдовы глаза так и горели, когда она любезно помогала ему распаковывать и размещать серебряные с позолотой ложки для рагу и для разливания супа, судки, приборы, соусники, блюда, сервизы для завтрака — словом, вещи более или менее красивые, достаточно увесистые, с которыми он не хотел расстаться. Эти подарки напоминали ему о торжественных событиях его семейной жизни.

— Вот, — сказал он г-же Воке, вынимая блюдо и большую чашку с крышкой в виде двух целующихся горлинок, — это первый подарок моей жены в годовщину нашей свадьбы. Бедняжка! Она истратила на это все свои девичьи сбережения. И я, сударыня, скорее соглашусь рыть собственными ногтями землю, чем расстаться с этим. Благодаря Бога, я в остаток дней своих еще попою утром кофейку из этой чашки. Жаловаться мне не придется, у меня есть кусок хлеба, и надолго.

В довершение всего г-жа Воке заметила своим сорочьим глазом облигации государственного казначейства, которые, по приблизительным расчетам, могли давать этому замечательному Горио тысяч восемь — десять дохода в год. С того дня вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже достигшая сорока восьми лет от роду, но признававшая из них только тридцать девять, составила свой план. Несмотря на то что внутренние углы век у Горио вывернулись, распухли и слезились, так что ему довольно часто приходилось их вытирать, она находила его наружность приятной и вполне приличной. К тому же его мясистые, выпуклые икры и длинный широкий нос предвещали такие скрытые достоинства, которыми вдова, как видно, очень дорожила, да их вдобавок подтверждало лунообразное, наивно-простоватое лицо папаша Горио. Он представлялся ей крепышом, способным вложить всю душу в чувство. Волосы его, расчесанные на два «крылышка» и с самого утра напудренные парикмахером Политехнической школы, приходившим на дом, вырисовывались пятью фестонами на низком лбу, красиво окаймляя его лицо. Правда, он был слегка мужиковат, но так подтянут, так обильно брал табак из табакерки и нюхал с такой уверенностью в возможность и впредь сколько угодно наполнять ее *макубой*, что в день переезда Горио, вечером, когда Воке улеглась в постель, она, как куропатка, обернутая шпиком, румянилась на огне желанья проститься с саваном Воке и возродиться женою Горио. Выйти замуж, продать пансион, пойти рука об руку с этим лучшим представителем зажиточного мещанства, стать именитой дамой в своем квартале, собирать пожертвования на бедных, выезжать по воскресеньям в Шуази, Суази и Жантильи; ходить в театр когда захочешь, брать ложу, а не дожидаться контрамарок, даримых кое-кем из пансионеров в июле месяце, — все это Эльдорадо парижских пошленьких се-

мейных жизней стало ее мечтой. Она не верила никому, что у нее есть сорок тысяч франков, накопленных по грошу. Разумеется, в смысле состояния она себя считала приличной партией.

«А в остальном я вполне стою старикана», — подумала она и повернулась на другой бок, будто удостовераясь в наличии своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на перине, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия.

С этого дня в течение трех месяцев вдова Воке пользовалась услугами парикмахера г-на Горио и сделала кое-какие затраты на туалет, оправдывая их тем, что ведь нужно придать дому достойный вид, в соответствии с почтенными особами, посещавшими пансион. Она всячески старалась изменить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем намерении пускать отныне лишь людей, отменных во всех смыслах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же начинала похваляться, что г-н Горио — один из самых именитых и уважаемых купцов во всем Париже, а вот оказал ей предпочтение. Г-жа Воке распространила специальные проспекты, где в заголовке значилось: «ДОМ ВОКЕ». И дальше говорилось, что «это самый старинный и самый уважаемый семейный пансион Латинского квартала, из пансиона открывается наиприятнейший вид (с четвертого этажа!) на долину Гобеленовой мануфактуры, есть *миленький* сад, а в конце его *простирается* липовая аллея». Упоминалось об уединенности и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графиню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ждавшую окончания дела о пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, павшего на *полях* битвы. Г-жа Воке улучшила свой стол, почти шесть месяцев отапливала общие комнаты и столь добросовестно сдержала обещания проспекта, что *доложила еще своих*. В результате графиня, называя г-жу Воке дорогим другом, обещала переманить к ней из квартала Марэ баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа Пикуазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пансионе более дорогом, чем «Дом Воке». Впрочем, эти дамы будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии закончат их дела.

— Но канцелярии всё тянут без конца, — говорила она.

После обеда обе вдовы уединялись в комнате самой Воке, занимались там болтовней, попивая черносмородинную наливку

и вкушая лакомства, предназначенные только для хозяйки. Графиня де л'Амбермений очень одобряла виды хозяйки на Горио, виды отличные, о которых, кстати сказать, она догадалась с первого же дня, и находила, что Горио — мужчина первый сорт.

— Ах, дорогая! — говорила ей вдова Воке. — Этот мужчина свеж, как яблочко, прекрасно сохранился и еще способен доставить женщине много приятного.

Графиня великодушно дала кое-какие указания г-же Воке по поводу ее наряда, не соответствовавшего притязаниям вдовы.

— Надо вас привести в боевую готовность, — сказала она ей.

После долгих вычислений обе вдовы отправились в Пале-Рояль и в Деревянной галерее купили шляпку с перьями и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Маленькая Жанета», где они выбрали платье и шарф. Когда это боевое снаряжение пустили в дело и вдовушка явилась во всеоружии, она была поразительно похожа на вывеску «Беф а-ля мод». Тем не менее сама она нашла в себе такую выгодную перемену, что сочла себя обязанной графине и преподнесла ей шляпку в двадцать франков, хотя и не отличалась тороватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать от графини одной услуги, а именно — выспросить Горио и показать ее, Воке, в хорошем свете. Графиня де л'Амбермений весьма по-дружески взялась за это дело, начала обхаживать старого вермишельщика и наконец добилась беседы с ним; но в этом деле она руководилась желанием соблазнить вермишельщика лично для себя; когда же все покушения ее натолкнулись на застенчивость, если не сказать — отпор, папаши Горио, графиня возмутилась неотесанностью старика и вышла.

— Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживиться! — сказала она своей подруге. — Он недоверчив до смешного; это дурак, скотина, скряга, и, кроме неприятности, ждать от него нечего.

Между графиней де л'Амбермений и г-ном Горио произошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже оставаться с ним под одной кровлей. На другой же день она уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребывания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в пять франков. Как ни ретиво взялась за розыски г-жа Воке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о графине де л'Амбермений. Она часто

вспоминала об этом печальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную доверчивость, хотя была недоверчивее кошки; но в этом отношении г-жа Воке имела сходство со многими людьми, которые не доверяют своим близким и отдаются в руки первого встречного, — странное психологическое явление, но оно факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой душе. Быть может, некоторые люди не в состоянии ничем снисказать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружающие втайне выносят им заслуженно суровый приговор; но в то же время такие люди испытывают непреодолимую потребность слышать похвалы себе, — а как раз этого не слышно, или же их снедает страстное желание показать в себе достоинства, каких на самом деле у них нет, и ради этого они стремятся завоевать любовь или уважение людей, им посторонних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец, есть личности, своекорыстные по самой их природе: ни близким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это только долг; а если они оказывают услуги незнакомым, они тем самым поднимают себе цену; поэтому чем ближе стоит к ним человек, тем меньше они его любят; чем дальше он от них, тем больше их старанье услужить. И несомненно, в г-же Воке соединились обе эти натуры, по самому существу своему мелкие, лживые и гадкие.

— Будь я тогда здесь, — говаривал Вотрен, — с вами не приключилось бы такой напасти. Я бы вывел эту пройдоху на чистую воду. Их штучки мне знакомы.

Как все ограниченные люди, г-жа Воке обычно не выходила из круга самих событий и не вдавалась в их причины. Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг этот убыток, то для нее первопричиной такого злоключения оказался честный вермишельщик; с той поры у нее, как говорила она, раскрылись на него глаза. Уразумев всю тщету своих заигрываний и своих затрат на благолепие, она без долгих дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио имел, по выражению ее, свои *замашки*. Словом, он показал ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химерической основе и от такого человека ей ничем не поживиться, как энергично выразилась графиня, видимо знаток в этих делах. В своей неприязни г-жа Воке, конечно, за-

шла гораздо далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала не былой любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце делает передышки при подъеме на высоты добрых чувств, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Однако Горио был все-таки ее жильцом, а следовательно, вдове пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдерживать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подавлять жажду мести, подобно монаху, который вынужден терпеть обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетворения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным рядом мелочных поступков. Вдова, пустив в ход все женское коварство, стала изобретать тайные гонения на свою жертву. Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено в общий стол.

— Никаких корнисионов, никаких анчоусов: от них один убыток! — объявила она Сильвии в то утро, когда решила вернуться к прежней своей программе.

Господин Горио был человек скромных потребностей, и скопидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе богатство, вошло у него уже в привычку. Суп, вареная говядина, какое-нибудь блюдо из овощей всегда были и остались излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого нахлебника, ущемляя его вкусы, оказалась нелегким делом для г-жи Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с неуязвимым человеком, она стала выказывать неуважение к нему, тем самым внушая свою неприязнь к Горио другим пансионерам, а те ради забавы способствовали ее мести.

К концу первого года вдова дошла до такой степени подозрительности, что задавала себе вопрос: отчего этот купец, при его доходе в семь-восемь тысяч ливров, с его превосходным столовым серебром и красивыми, как у содержанки, драгоценностями, все-таки жил у нее и, несоразмерно с состоянием, так скупно тратился на свой пансион? В течение большей части первого года Горио нередко, раз или два в неделю, обедал в другом месте, затем мало-помалу он стал обедать вне пансиона только два раза в месяц. Отлучки г-на Горио удачно совпадали с выгодами г-жи Воке, а когда жилец начал все чаще и чаще обедать дома, такая исправность не могла не вызвать неудовольствия хозяйки. Эти перемены были приписаны не только денежному оскудению Горио, но и его желанию насолить своей хозяйке. Гнуснейшая привычка

карликовых умов — приписывать свое духовное убожество другим. К несчастью, к концу второго года Горио оправдал все пересуды в отношении себя, попросив г-жу Воке перевести его на третий этаж и сбавить плату за пансион до девятисот франков. Ему пришлось так строго экономить, что он перестал топить зиму. Вдова Воке потребовала, чтобы ей было заплачено вперед, на что и получила согласие г-на Горио, которого все же с той поры стала звать «папаша Горио».

О причинах этого падения строили догадки все кому не лень. Дело трудное. Как говорила лжеграфиня, папаша Горио был скрытен, себе на уме. По логике людей пустоголовых, всегда болтливых, потому что, кроме пустяков, им нечего сказать, всякий, кто не болтает о своих делах, очевидно, занимается зловердными делами. Так «именитый купец» превратился в мазурика, а «волокита» — в старого шута. Папаша Горио то оказывался человеком, который забегал на биржу и там, по энергичному выражению финансового языка, *пощитывал на ренте*, после того как разорился на большой игре, — такова была версия Вотрена, поселившегося тогда в «Доме Воке»; а то он был одним из мелких игроков, что каждый вечер ставят на счастье и выигрывают франков десять. То из него делали шпиона тайной полиции, — но, по уверению Вотрена, Горио был недостаточно хитер, чтобы *достигнуть этого*. Кроме того, папаша Горио был также скрягой, ссужавшим под высокие проценты на короткий срок, и лотерейным игроком, игравшим на «сквозной» номер. Он превращался в какое-то весьма таинственное порождение бесчестья, немощи, порока. Однако же, как ни были гнусны его пороки или поведение, неприязнь к нему не доходила до того, чтобы его изгнать: за пансион-то он платил. К тому же от него была и польза: каждый, высмеивая или задирая его, изливал свое хорошее или дурное настроение.

Мнение г-жи Воке казалось наиболее правдоподобным и получило общее признание. По ее словам, этот «хорошо сохранившийся и свежий, как яблочко, мужчина, еще способный доставить женщине много приятного», был просто-напросто распутник со странными наклонностями. И вот какими фактами обосновала г-жа Воке эту клевету.

Несколько месяцев спустя после отъезда разорительной графини, сумевшей просуществовать полгода за счет хозяйки, г-жа Воке однажды утром, еще не встав с постели, услышала на лестни-

че шуршание шелкового платья и легкие шаги молодой, изящной женщины, проскользнувшей к Горио в заранее растворенную дверь. Толстуха Сильвия сейчас же пришла сказать своей хозяйке, что некая девица, чересчур красивая, чтобы быть честной, одетая как божество, в прюнелевых ботинках, совсем не запыленных, скользнула, точно угорь, с улицы к ней на кухню и спросила, где квартирует г-н Горио. Вдова Воке вместе с кухаркой стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, сказанные во время этого довольно продолжительного посещения. Когда же г-н Горио вышел проводить свою даму, толстуха Сильвия надела на руку корзинку, как будто бы отправилась на рынок, и пошла следом за любовной парочкой.

— Сударыня, — сказала она, вернувшись, — а, надо быть, господин Горио богат чертовски, коли ничего не жалеет для своих красоток. Верите ли, на углу Эстрапады стоял роскошный экипаж, и в этот экипаж села *она!*

Во время обеда г-жа Воке пошла задернуть занавеску, чтобы папаше Горио солнце не било в глаза.

— Господин Горио, вас любят красотки, — смотрите, как солнышко с вами играет. Черт возьми, у вас есть вкус, она прехорошенькая, — сказала вдова, намекая на его гостью.

— Это моя дочь, — ответил Горио с гордостью, которую нахлебники сочли просто самодовольством старика, соблюдавшего внешние приличия.

Спустя месяц со времени первого визита к Горио последовал второй. Его дочь, которая была у него первый раз в простом утреннем платье, теперь явилась после обеда, в выездном наряде. Нахлебники, болтавшие в гостиной, имели случай полюбоваться на красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную для дочери какого-то папаша Горио.

— Да их две! — заявила, не узнав ее, толстуха Сильвия.

Через несколько дней другая девица, высокая, хорошо сложенная брюнетка с живым взглядом, спросила г-на Горио.

— Да их три! — воскликнула Сильвия.

Вторая дочь навестила отца тоже утром, а несколько дней спустя приехала вечером в карете, одетая в бальный туалет.

— Целых четыре! — воскликнули г-жа Воке с толстухой Сильвией, не заметив в этой важной даме никакого сходства с просто одетой девицей, приходившей в первый раз утром.

Горио еще платил тогда за пансион тысячу двести франков. Г-жа Воке находила вполне естественным, что у богатого мужчины четыре или пять любовниц, а в его стремлении выдать их за своих дочерей усматривала даже большое хитроумие. Она несколько не была в претензии, что он их принимал в «Доме Воке». Но так как этими посещениями объяснялось равнодушие пансионера к ее особе, вдова позволила себе в начале второго года дать ему кличку «старый кот». Когда же Горио скатился до девятисот франков, она, увидя одну из этих дам, сходящую с лестницы, спросила его очень нагло, во что он собирается превратить ее дом. Папаша Горио ответил, что эта дама его старшая дочь.

— Так у вас дочерей-то целых три дюжины, что ли? — съязвила г-жа Воке.

— Только две дочери, — ответил ей жилец смиренно, как человек разорившийся, дошедший до полной покорности из-за нужды.

К концу третьего года папаша Горио еще больше сократил свои траты, перейдя на четвертый этаж и ограничив расход на свое содержание сорока пятью франками в месяц. Он бросил нюхать табак, расстался с парикмахером и перестал пудрить волосы. Когда папаша Горио впервые явился ненапудренным, хозяйка ахнула от изумления, увидев цвет его волос — грязно-серый с зеленым оттенком. Его физиономия, становясь под гнетом тайных горестей день ото дня все печальнее, казалась самой удрученной из всех физиономий, красовавшихся за обеденным столом. Не оставалось никаких сомнений: папаша Горио — это старый распутник, только благодаря искусству врачей сохранивший свои глаза от коварного действия лекарств, неизбежных при его болезнях, а противный цвет его волос — следствие любовных излишеств и тех снадобий, которые он принимал, чтобы продлить эти излишества. Физическое и душевное состояние бедняги, казалось, оправдывало этот вздор. Когда у Горио сносилось красивое белье, он заменил его бельем из коленкора, купленного по четырнадцать су за локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности — все ушло одно вслед за другим. Он расстался с васильковым фраком, со всем своим парадом и стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна коричневого цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толстого буксина.

Горио все худел и худел; икры опали, лицо, расплывшееся в довольстве мещанского благополучия, необычайно сморщилось, челюсти резко обозначились, на лбу залегли складки. К концу четвертого года житья на улице Нев-Сент-Женевьев он стал сам на себя непохож. Милый вермишельщик шестидесяти двух лет, на вид не больше сорока, высокий, полный буржуа, моложавый до нелепости, с какой-то юною улыбкою на лице, радовавший прохожих своим веселым видом, теперь глядел семидесятилетним стариком, тупым, дрожащим, бледным. Сколько жизни светилось в голубых его глазах! — теперь они потухли, выцвели, стали серо-железного оттенка и больше не слезились, а красная закраина их век как будто сочилась кровью. Одним внушал он омерзение, другим — жалость. Юные студенты-медики, заметив, что нижняя губа у него отвисла, и смерив его лицевой угол, долго старались растормошить папашу Горио, но безуспешно, после чего определили, что он страдает кретинизмом.

Как-то вечером, по окончании обеда, когда вдова Воке насмешливо спросила Горио: «Что ж это ваши дочки перестали навещать вас?» — ставя этим под сомнение его отцовство, папаша Горио вздрогнул так, словно хозяйка кольнула его железным острием.

— Иногда они заходят, — ответил он взволнованным голосом.

— Ах, вот как! Иногда вы их еще видите? — воскликнули студенты. — Bravo, папаша Горио!

Старик уже не слышал насмешек, вызванных его ответом: он снова впал в задумчивость, а те, кто наблюдал его поверхностно, считали ее старческим отупением, говоря, что он выжил из ума. Если бы они знали Горио близко, то, может быть, вопрос о состоянии его, душевном и физическом, заинтересовал бы их, хотя для них он был почти неразрешим. Навести справки о том, занимался ли Горио в действительности торговлей мучным товаром и каковы были размеры его богатства, конечно, не представляло затруднений, но люди старые, чье любопытство он мог бы пробудить, не выходили за пределы своего квартала и жили в пансионе, как устрицы, приросшие к своей скале. Что же касается до остальных, то стоило им выйти с улицы Нев-Сент-Женевьев, и сейчас же стремительность парижской жизни уносила воспо-

минание о бедном старике, предмете их глумлений. В понятии беспечных юношей и этих ограниченных людей такая горькая нужда, такое тупоумие папаши Горио не вязались ни с каким богатством, ни с какой дееспособностью. О женщинах, которых он выдавал за своих дочерей, каждый держался мнения г-жи Воке, которая с непререкаемой логикой старух, привыкших в часы вечерней болтовни судачить о чем угодно, говорила:

— Будь у папаши Горио дочери так же богаты, как были с виду дамы, приходившие к нему, разве стал бы он жить у меня в доме, на четвертом этаже, за сорок пять франков в месяц и ходить как нищий?

Подобных доводов ничем не опровергнешь. Таким образом, в конце ноября 1819 года, когда разыгралась эта драма, любой нахлебник в пансионе имел вполне установившееся мнение о бедном старике. Никакой жены, никаких дочерей у него никогда не было; злоупотребление удовольствиями превратило его в улитку, в человекообразного моллюска из отряда *фуражконосных*, как выразился «разовый» нахлебник, чиновник Естественно-исторического музея... Даже Пуаре был орел, джентльмен в сравнении с Горио. Пуаре говорил, рассуждал, давал ответы; правда, в разговоре — и в рассуждениях, и в ответах — он ничего своего не выражал, ибо имел привычку повторять иными словами только то, что было сказано другими, но все же он способствовал беседе, в нем была жизнь, видимость каких-то чувств, а Горио, опять-таки по выражению музейного чиновника, стоял все время на точке замерзания.

Растињяк, съездив домой, вернулся в настроении, хорошо знакомом молодым людям, если они очень способны вообще или если в них под действием тяжелых обстоятельств вдруг пробуждаются на короткий срок способности исключительных людей. В первый год своего пребывания в Париже, когда для получения начальных степеней на факультете еще не требуется усидчивой работы, Эжен располагал свободным временем, чтобы насладиться показными прелестями Парижа. Студенту не хватит времени, если он намерен ознакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все ходы и выходы в парижском лабиринте, узнать обычаи, перенять язык, привыкнуть к столичным удовольствиям, обегать все приличные и злачные места, послушать занима-

тельные лекции и осмотреть музейные богатства. В это время он придает огромное значение всяким пустякам и страстно ими увлекается. У него есть свой великий человек, профессор из Коллеж де Франс, которому за то и платят, чтоб он держался на уровне своей аудитории. Студент выше подтягивает галстук и принимает красивые позы ради какой-либо женщины, сидящей в первом ярусе Комической оперы. Исподволь он входит в жизнь, обтеывается, расширяет свой кругозор и постигает наконец соотношение различных слоев в человеческом обществе. Начав заглядывать на вереницу колясок, движущихся при ярком солнце по Елисейским Полям, он скоро пожелает обзавестись своим выездом.

Эжен, не сознавая этого, успел пройти такую школу еще до того, как уехал на каникулы, получив степень бакалавра словесных и юридических наук. Его ребяческие иллюзии, его провинциальные воззрения исчезли, понятия изменились, а честолюбие безмерно разрослось, и, живя в родной усадьбе, в лоне своей семьи, на все смотрел он новым, трезвым взглядом. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка, все богатство которой заключалось в пенсии, жили в маленьком имении Растиньяк. Это поместье с доходом около трех тысяч франков зависело от шаткой экономики, господствующей в чисто промысловой культуре винограда, и, несмотря на это, требовалось ежегодно еще извлекать тысячу двести франков для Эжена. Он видел эту постоянную нужду, которую великодушно скрывали от него; невольно сравнивал своих сестер, которые казались ему в детстве такими красавицами, с парижскими женщинами, воплотившими лелеемый в его мечтах тип красоты; сознавал всю зыбкость будущего этой многочисленной семьи, которая надеялась всецело на него; замечал, с какою мелочной бережливостью заботливо припрятавались самые дешевые продукты; пил вместе со всей семьей напиток, приготовленный на виноградной кожуре; словом, множество обстоятельств, упоминание о коих здесь бесцельно, удесятерило его желание преуспеть в жизни и возбудило жажду выдвинуться. Как это свойственно великодушным людям, ему хотелось быть обязанным лишь собственным заслугам. Но он был южанин, до мозга костей южанин, поэтому на деле его решениям предстояло испытать те колебания, какие возникают у молодого челове-

СОДЕРЖАНИЕ

ОТЕЦ ГОРИО. <i>Перевод Е. Корша</i>	5
ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА. <i>Перевод Б. Грифцова</i>	251
НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР. <i>Перевод И. Брюсовой</i>	495
ГОБСЕК. <i>Перевод Н. Немчиновой</i>	525
ПОЛКОВНИК ШАБЕР. <i>Перевод Н. Жарковой</i>	587
ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА. <i>Перевод А. Худадовой</i>	655

Бальзак О. де

Б 21 Малое собрание сочинений / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Б. Грифцова, И. Брюсовой, Н. Жарковой и др. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 832 с.

ISBN 978-5-389-07578-8

Оноре де Бальзак упорно искал формулу своего века, формулу человеческого бытия. В поисках универсального ключа к людской вселенной он создал целый мир «Человеческой комедии»: 88 текстов и 2500 персонажей. Малое собрание сочинений писателя, куда вошли его знаменитые романы и повести «Гобсек», «Отец Горио», «Тридцатилетняя женщина», «Шагреновая кожа» и др., позволяет погрузиться в этот разноликий, многоголосый мир.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Литературно-художественное издание

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ответственный редактор Галина Соловьева
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Елена Шнитникова, Татьяна Бородулина
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 02.06.2016.
Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 52.
Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



YAMS1558102R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/